



Мне всегда было интересно выдумывать сюжет, погружаться в повествование, где я — полноправная хозяйка. Хочу — казню, хочу — милую.

А тут впервые захотелось написать о собственной жизни, о бабушке и маме, родившихся и живших в СССР, разделивших со своими современницами трудности и невзгоды — и все равно умевших быть счастливыми, несмотря ни на что и вопреки всему. А еще — жить ради своих близких, любить их бескорыстно и беззаветно. Иногда — ни за что.

Об этом — первая часть книги, «Дневник женщины среднего возраста». Это, конечно, не дневник в буквальном смысле слова, скорее история жизни.

В этой книге очень много историй о быте. Женская жизнь всегда связана с ним — будь он неладен! Но без быта невозможно, потому что женщина прежде всего



влет гнездо, устраивает повседневную жизнь своих близких. И наверняка, читая эти страницы, вы вспомните собственные истории, истории собственных мам и бабушек. Надеюсь, что это будут самые теплые, самые милые сердцу воспоминания.

С героиней второй части книги, «Остров Прекрасной Елены», судьба свела меня совершенно случайно, но, как часто бывает, эта случайная встреча оказалась для меня очень важной. Судьба Елены необычна, это как раз тот случай, когда подлинная история гораздо интереснее придуманной, потому что такое невозможно придумать.

Книга эта – восхищение, преклонение, восторг перед моими соотечественницами, сверстницами, с их вечным терпением и терпимостью, смиренностью и громким, звенящим бунтом, с силой и мощью их природы, великодушием. А еще – с открытостью, искренностью, состраданием. С их упорством и верой, талантом и работоспособностью, умением проходить сквозь стены и раздвигать руками огромные горы. С нежностью, бескорыстием и вечным стремлением быть любимыми.

И конечно, эта книга о том, как можно изменить свою жизнь. Перевернуть. Переделать и вновь сотворить, обнулив предыдущую. При самых малых, мизерных возможностях. При полном отсутствии денег. Имея только талант и веру. Ну и, конечно, друзей-сподвижников, соавторов судьбы, единомышленников.

Ведь если веришь в себя, то в тебя поверят другие. Заразительное это дело – одержимость, настойчивость, трудолюбие, вера, талант. Как ветрянка, наверное.

В общем, жизнь начинается даже не в сорок, как было однажды нам сказано. И к пятидесяти можно начать!



Мария Мейлишкая



В Плесе, где живет моя героиня, я научилась любить и понимать свою родину. Стала больше верить в людей. Я удивилась и обрадовалась, что сохранила способность удивляться — большое спасибо Лене еще и за это!

Наши российские женщины — основа всего. Нигде — уверена, нигде! — нет таких женщин!

Так сложилось исторически. Ведь где война и беда — там спасает она, женщина: провожает на пороге и ждет, когда вернется муж, брат или сын. А войн и бед нашим современницам выпало немало.

Пережито многое... И многое впереди. Но я в нас верю. Мы снова прикроем, закроем, спасем и утешим — теплом и любовью, верой и верностью.

Дневник
женщины
средних лет



В июле в самом конце пятидесятых на Арбате, в знаменитом роддоме имени Грауэрмана, родилось некоторое количество младенцев. Среди них была и я. Спасибо всем, кто принимал в этом участие, дело это было, как я понимаю, совсем непростое.

В общем, началась жизнь.



Истоки, дед и бабушка

Моя бабушка Софья Борисовна Метлицкая была человеком необыкновенным. Думаю, что все лучшее, что есть в нас, женщинах нашей семьи, — конечно же, от нее. Ее бесконечно трагичная судьба похожа на многие другие.

Родилась она в еврейском местечке под Минском. Мой прадед, ее отец, брал в аренду мельницу, и с этого кормилась большая семья. Был он невысокого роста, широк в плечах, очень ярок и красив лицом. К слову — чудеса! — мой сын, его праправнук, многое взял от него, и не только внешность. Говорили, прадед был строг, немногословен и слегка скуповат. Может, расчетлив? Ответственен за родных, за большую семью? Много читал: философские книги, исторические, религиозные. Был человеком образованным, искал смысл жизни. Отличался сдержанностью и ироничностью — мнение ценил только свое. К служителям культа относился с пренебрежением и недоверием — говорил, что почти все они нечисты



на руку, что между человеком и Богом посредников быть не должно. Религиозным он не был — субботу не соблюдал.

Моя прабабушка Мария, Марьяся, как называл ее прадед, была женщиной тихой, мягкой, изящной и милой, хотя красотой не блистала. Мужу никогда не перечила — никогда! Вела хозяйство и растила троих детей — двух дочек и сына. По рассказам бабушки, у них был хороший, крепкий дом и, конечно, прислуга — девчонка из местных. Она помогала по хозяйству и в огороде. Подозревали, что тихой и покладистой своей Марьясе муж изменял. А она, если спрашивали, есть ли у нее на сей счет сомнения, смеялась, махала рукой и бесшабашно и легкомысленно отвечала: «Не мыло — не измылятся». Почему она была так беспечна? Муж-то красавец! Думаю, что не ощущала угрозы — о разводе тогда никто не думал вообще. Ну завел мужик интрижку — и что? Семья есть семья! К тому же трое любимых детей. Вот и была тихая Марьяся спокойна.

Моя бабушка, их дочь Софья, лицом пошла в своего отца — выросла красивой и яркой. Да и характер, думаю, тоже был как у прадеда — нетерпелива, вспыльчива и очень решительна. Потому и замуж выскочила в шестнадцать лет — особенно не рассуждая. Хотелось в столицу, в большой город, хотелось свободы — отец был строг и держал дочек-красавиц в ежовых рукавицах. Да и время было жуткое, тревожное, смутное — 20-е годы.

Избранником бабушки оказался молодой судья из Минска. Уехали, обосновались в маленьком городке Червине. Муж там работал судьей, а бабушка в семнадцать родила сына и — затосковала.

Муж ее, пламенный борец за справедливость, писал письма отцу народов о несправедливости общества, просил «принять меры». К тому же был глуповат.



Позже они переехали в Минск — муж получил должность старшего судьи. Ну, жили себе и жили, однако через пару лет после переезда бабушка моя легкомысленная влюбилась. Ее новый избранник, Стефан Ивашкевич, был очень хорош собой. Голубоглазый блондин, со скульптурным лицом суровой и твердой лепки. Но — женат. Начались годы страданий, слез, расставаний и новых встреч. Думаю, что это была большая страсть, никак иначе.

Вскоре бабушку с мужем перевели в Москву, где он получил хорошую должность — замначальника в Наркомпросе. Дали им и квартиру — отдельную, где-то на Войковской. Бабушка отправилась туда на трамвае. Ехала часа полтора. Поначалу, выйдя на улицу, тут же захотела вскочить в трамвай и уехать обратно. Но любопытство победило, и квартиру посмотреть пошла. Говорила, что та оказалась большой и просторной — дворец, а не квартира, хоть на велосипеде катайся. Но вселяться туда бабушка отказалась. Согласились на две комнаты в коммуналке, в самом центре. На Кировской — куда уж центральнее. Там, в доме номер двадцать четыре, родилась моя мама.

А роман с моим будущим дедом все продолжался. Он часто приезжал в Москву в командировки. Встречались они в гостиницах — чаще всего в «Национале». История эта затянулась на долгие десять лет. Первый бабушкин муж об адюльтере узнал — сообщили, но претензий не предъявлял — умолял не бросать его, не разводиться. Понятно, что такая слабость мужской природы была страстной бабушке не по душе — мужа своего она теперь еще и откровенно презирала. Решила все беременность — любовник тут же развелся и переехал в Москву.

Они сошлись. Поначалу жили в одной квартире с бабушкиным первым мужем — тогда это было вполне нор-



мальным явлением. Вдуматься — ужас! Утром у туалета или раковины сталкиваться нос к носу со счастливым соперником, который только что обнимал твою бывшую, но все еще любимую жену. Но как-то жили и морды друг другу не били. Даже за стол садились все вместе.

В одной комнате жили дедушка с бабушкой — молодожены. В другой — брошенный муж, их общий с бабушкой сын и домработница. Услышав про домработницу, я удивилась. Бабушка махнула рукой: «Да что ты! Домработницы тогда были у всех. Даже у самых бедных». Деревенские девушки сбегали из сел от голода и невыносимых условий. В столице платили им сущие копейки, но колхоз не платил и этого — были лишь трудодни. В городах им давали кров и обеспечивали питанием — ели все вместе, за общим столом, деньги от зарплат они собирали.

Потом наконец разъехались — первый муж бабушки уехал снова в Минск, вскоре удачно женился и прожил о-о-очень долгую и спокойную жизнь.

Кстати, еще про мою затейницу бабушку. Имена своим детям дала она нетрадиционные, скажем так. Сына назвала Владиленом, а маму мою — куда хлеще для тех времен — Эвелиной. Это сейчас полно Эвелин, а тогда мама стеснялась своего имени. Представлялась Инной. Ну и плюс отчество — Эвелина Стефановна. Кем только не была она за свою трудовую биографию — и Инной Степановной, и Эльвирой, и Элеонорой.

Брат ее тоже Владиленом не остался — назвал себя Владимиром. А дома его звали Леней. Такая вот путаница из-за сложностей, придуманных бабушкой.

К слову, про имена. Дочек своих мама назвала просто: я — Маша, сестра — Катя. Сотрудница ее как-то недоволь-



но заметила, обидевшись за меня и сестру: «Сама Эвелина! А дочки? Крестьянки! Фантазии вам не хватило?»

В 37-м родилась моя мама.

Деда забрали, когда маме моей было восемь месяцев от роду, а бабушке двадцать восемь лет. Замуж она больше не вышла, хотя звали, и не раз. Звал и первый муж, который после ареста соперника резко активизировался.

Вот что бабушка рассказывала об аресте деда.

Он был в командировке, в Киеве. Дал телеграмму — встречай рано утром. К ним пришли накануне. Не поверили, что деда нет. Спросили — где прячешь? Бабушка протянула телеграмму. Те прошли по квартире. Проверили. Поверили. Ушли. Пришли рано утром следующего дня. Сели в прихожей. Потом переместились в комнату. Раздался звонок в дверь. Соседка выскочила предупредить, но не успела — следом за ней выскочил и гэбэшник. Цыкнул и сильно толкнул локтем: «Туда захотела?»

Бабушка протянула мужу сложенный рюкзак — носки, смену белья, рубашку. Попрошались взглядом — обняться не дали — не положено врагам отчизны обнимать своих близких. Подойти к дочке тоже не дали: какая дочка, если с тобой самим пока не все ясно? Полгода бабушка ходила в тюрьму, в Бутырку. Отстаивала дикие очереди с такими же, как она. Носила деньги и передачи. А однажды ей сказали: «Все. Больше не приходите — осужден. По пятьдесят восьмой. Десять лет без права переписки».

Я как-то спросила ее:

— Ты понимала?

Она ответила:

— Наверное, да. Но продолжала надеяться. Вдруг? Ждала и после войны — вздрагивала на каждый стук, каждый звонок.



«Вдруг» не случилось.

У бабушки не просто отняли любимого человека, защитника, мужа, кормильца. У нее, двадцативосьмилетней, отняли судьбу. Женскую жизнь. Деду моему в момент ареста было тридцать семь лет.

В 90-е нам позвонили из общества «Мемориал», пригласили в архив КГБ на Кузнецком, где выдали дело мамино отца, моего деда, Стефана Ивашкевича. Дело это было тоненьким, коротким. Гораздо короче, чем его короткая жизнь. Зафиксировано, что после трех допросов он во всем признался — наверное, кончились силы.

На крошечной фотографии лицо совершенно замученного и сломленного человека — глаза, молящие о смерти и избавлении.

Мама плакала и приговаривала:

— Бедный мой папочка!

В тоненькой картонной папочке был приклеен конверт: «Не вскрывать!» Я предложила все-таки вскрыть, но моя законопослушная мама отчаянно закачала головой: «Что ты, ни в коем случае!» Ну я и послушалась, о чем очень жалею сейчас — надо было открыть и прочитать. Надо было все знать до конца. Впрочем, о чем я? О правде, которой и не было?

Мы нашли деда и в расстрельных списках Сахаровского центра, и в Книге памяти общества «Мемориал». Съездили в Коммунарку, на его могилу, которой, собственно, нет. Есть только примерное место, где, слава богу, закончились его адские муки.

Не знаю о нем почти ничего — когда-то семья его переехала из Варшавы в Питер, где он и родился. Семья была большая, с трагической историей — кто-то покончил с собой, кто-то умер в младенчестве, кто-то в юности,



а кто-то погиб в Гражданскую. Мать его, моя прабабушка, жизнь свою окончила в доме скорби — не выдержала психика «валежной пани» кошмаров соцстроя.

Дед мой воевал в Гражданскую командиром бронепоезда. А позже, в 20-е, занимал важную должность в большом министерстве, быстро шел вверх по служебной лестнице и — обычный итог!

О, сколько их упало в эту бездну...

Упало и — пропало. Навсегда.

Бабушкиного отца, моего прадеда Бориса Метлицкого, тоже взяли в начале 30-х. «Раскулачили». И наплевать, что не был он хозяином мельницы и сам пахал там до третьего пота — эксплуататор!

Не посадили — отправили на строительство Беломорканала. Канал был построен в рекордные сроки — с 31-го по 33-й год. Но какими усилиями и какой ценой! По документам примерно двенадцать с лишним тысяч трупов. Хорошее слово — «примерно»! Но и там дед проявил себя — в смекалке, честности и труде. Начальник заметил его, перевел в бригадиры, очень ценил. Дед выжил и вернулся домой — повезло. В Белоруссию не поехали — там было не прокормиться. Отправились к старшей дочери Анне на юг, на Азовское море.

Мама хорошо помнит своего деда — немногословного, сурового, требовательного и красивого старика. Его я не знала, а вот его Марьяся, Мария Метлицкая, полная моя тезка и моя прабабушка, прожила очень долгую жизнь — умерла она в 76-м, я тогда оканчивала школу. Было ей девяносто два года.

Она еще успела вкусить жизни до революции, до кровавых и страшных времен. Еще поносила бархатные шляпки и брошку-камею. Еще помнила ощущение тонкого кружев-



ного белья. Еще по утрам собирала свои богатые волосы в высокий пучок, подколотый настоящим черепаховым гребнем. Пара капель духов «Коти» на тонком запястье, маленькая ножка в кожаном башмачке с изящной защелкой, сшитом удивительно! Ни разу ногу этот башмачок не натер, ни разу нога не устала. Подметка не отвалилась, не дала течь — даже в эвакуации, когда проваливался, хрустя и ломаясь, словно стекло, тонкий лед на коварных лужах.

И пальтишко свое износила до белизны обшлагов. Английский драп синего цвета, подбитый сереньким кроликом, с бархатной стоечкой у нежной шеи — прожило оно до мирного времени, пока дочери не выкинули «это добро». Только сережек, подарка мужа на рождение сына, прозрачных бриллиантовых капелек редкой грушевидной формы, не осталось — проели в войну.

Развлечений в ее жизни было немного — в город, в Минск, выезжали нечасто — раз в месяц: в гости к родне, за важными покупками или же к докторам на прием. Ну и в синематограф, а после в кондитерскую — побаловать себя кофе с пирожными. А так — обычная женская жизнь: трое детей, кухня, сад-огород. Жизнь трудовая, но не голодная. Спокойная жизнь, дай бог всякому!

Ее обожали все внуки и правнуки — доброты она была невероятной, тихая как мышонок, неприхотливая, совсем некапризная. Очень смешливая. Пела нам песни и рассказывала сказки с таким выражением, по «ролям», что нас разрывало от смеха.

Картинка из детства — бердянский двор в самом центре, улица Красная. Четырехэтажный дом, квартира тетюшки, бабушкиной сестры, — три комнаты, маленькая кухня. На балконе под марлей — от мух — сушатся знаменитые азовские «бички». Мы, конечно же, потихоньку



таскаем их оттуда. Во дворе на скамеечке сидят местные старушки — бабушка Марьяся среди них. Худенькая, как подросток, в легком темном платице, в платочке на голове, сидит, опираясь на палку.

Она видит нас, правнуков, и машет рукой, смеется:

— Ну, бандиты! Дел понаделали?

Потом, спустя годы, так же сидели моя бабушка и ее сестра.

Потом... потом скамеечка опустела. Ушли старики. И двор опустел. И жизнь опустела без них.

В начале двухтысячных мы с уже взрослым сыном поехали в Литву, навестили моих двоюродных сестер в Минске и решили заехать в Острошицкий городок, на родину бабушки. Это совсем близко от Минска — километров пятнадцать.

Пыльная дорога, заросший пруд. Восстановленная церквушка — во дворе еще стояли строительные леса. Навстречу вышел молодой батюшка, разговорились. Объяснили, что мы москвичи, едем в отпуск и вот решили заехать. Он кивнул и грустно сказал, что от «прежнего» почти ничего не осталось — пруд да дорога. Нет, есть еще старое строение — кажется, бывшая больница, заброшенное, полуразрушенное здание. Да! Еще старое кладбище! Правда, и оно совсем заросшее и заброшенное. Мы пошли туда — бурьян и осока по грудь, огромное поле. Сын рванул вперед и закричал:

— Мам, я нашел!

Я подошла и увидела несколько полукруглых, замшелых камней с еле заметными буквами. С трудом различили остаток фамилии — точнее, всего несколько букв. Гладили эти теплые камни и плакали. Тишина была какой-то нереальной, даже оглушительной. Где-то жужжал шмель, над



головой стрекотала пепельная стрекоза. Жарило солнце, чуть колыхалась трава. Вечный покой и вечная природа. Почти вечные камни, но и им, кажется, отпущен свой срок. И все же человеческая жизнь оказалась куда короче, чем все остальное! Но не короче человеческой памяти.

До войны бабушка с мамой, как я уже говорила, жили на Кировской. Служила бабушка делопроизводителем в управлении при Московском отделении жилищного хозяйства, почему-то в секретном отделе. Что они там за секречивали — одному богу известно. Сразу после ареста мужа пришла к своему начальнику и все ему рассказала. Тот выслушал молча, глаз не поднял и, тяжело вздохнув, принял решение: тут же перевел ее в другой отдел — несекретный — и даже повысил зарплату. Словом, он бабушку спас. Имя этого человека, ее начальника, — Давид Львович Бронер. Мама помнит его до сих пор.

В самом начале войны бабушка с сыном и дочкой, моей будущей мамой, эвакуировались в Татарию. До Казани — на поезде, дальше по Волге — на пароходике. Мама помнит, что маленький пароходик почему-то горел.

Всю жизнь бабушка хранила самые теплые воспоминания об этом глухом татарском селе и о его жителях — принимали их там тепло и радушно. Работала она в бухгалтерии при совхозе, носящем гордое имя «Пятнадцатилетия Октября». Старший бабушкин сын, мамин брат, вчерашний московский школьник, работал в поле на тракторе. Семнадцатилетним подростком он ушел на фронт — в последний призыв.

Комнатка, где они жили, была крохотной, шестиметровой. Дети спали у печки, бабушка — у окна. Туда же, в Татарию, приехали и ее родители. Приехали, когда бабушка умирала от воспаления легких — холод в избе был такой,



что к подоконнику примерзали, покрываясь инеем, ее прекрасные длинные волосы. Прадед быстро собрался и уехал в Казань, продал там свое наследство, золотые часы-луковку на цепочке, привез дочке лекарство, которое и спасло ей жизнь. Он, мой запасливый и расчетливый прадед, умудрился раздобыть и пшено, и фасоль — словом, выжили.

В 43-м вернулись в Москву. Комнаты, слава богу, сохранились — бабушка высылала домработнице Дусе деньги за коммуналку. Дуся в войну жила там же, на Кировской. Конечно, сожгла все книги и мебель — обычная история, надо было как-то выживать. Бабушка ее, разумеется, не отругала.

Итак, наступила мирная жизнь. Осталось жилье, вернулся с войны старший сын — инвалидом, с ранением, изуродовавшим его лицо, но живой, что было огромным счастьем. Росла умница дочь. И снова ежедневные подвиги, снова борьба за жизнь. Борьба, а не жизнь: после войны бабушка работала в бухгалтерии домоуправления, зарплата копеечная, карточки. В школу мама пошла в подкрашенных мелом парусиновых тапках на веревках. В дождь мел таял и растекался под ногами белой лужицей. От стыда мама плакала. Единственное ее платье было сшито из отцовской гимнастерки — серой, застиранной, усеянной плотными кубиками штопки.

Были у бабушки подружки — Геня, Галя, Берта. Я прекрасно их помню, этих ангельских старушек — бедных, плохо одетых, одиноких и никогда не унывающих. В театры — раза два в месяц! В музеи и того чаще. Ну и в гости друг к другу! Муж, кстати, имелся только у Гали — остальные вдовели.

Вспоминаю один Новый год. Родители в командировке. Любимая бабушкина подружка Геня живет далеко, возле Измайловского парка. Вечером едем к ней отмечать.



Комнатка на первом этаже, очень низком, окном почти в землю. Деревянные крашенные полы, кровать с металлической спинкой. Кипенно-белое покрывало. Старенький телевизор, черно-белый «Темп». Бьющая в глаза бедность и такая же отчаянная чистота. Небольшой круглый стол, парадная, местами подштопанная скатерть. На столе — плошечки с закуской, салатами — оливье, селедка под шубой, тертая морковка, свекла с чесноком. Пирожки. Бутылка сладкого шампанского.

Еле слышно работает телевизор — Брежнев шамкает челюстью и хвалится успехами, что-то там про закрома и пятилетки, которые в срок. Укладывают меня спать поздно, почти в час ночи. Я засыпаю под бабушкин и Геннин размеренный, тихий и убаюкивающий шепот. На столе горит лампа, прикрытая старым платком. Среди ночи просыпаюсь и вижу ту же картину — две пожилые женщины, чья дружба проверена годами и самой жизнью, по-прежнему сидят друг напротив друга. Склоненные седые головы — у обеих старушечьи пучки. И разговор, разговор — без конца. На улице поскрипывает желтый фонарь и слабо пробивается рассвет, а они все сидят. Вспоминают. И не кончается, тихо течет их беседа. Журчит неспешно, как ручеек. Ну а я — я снова засыпаю, как мне и положено.

Подсчитала — это год примерно 69-й. То есть бабушке и ее подруге под шестьдесят. Всего-то! Немногим больше, чем мне сейчас.

А ощущение было, что они древние старушки.

Всю жизнь бабушка служила своей дочери, своим внукам и, слава богу, застала наших детей — своих правнуков. Водила нас на музыку, фигурное катание, плаванье. По-



могала с уроками, обстирывала, обглаживала, подавала, убирала и защищала от строгой мамы.

По вечерам, когда мы все наконец разбрелись по своим углам, она садилась читать. Читала всегда и много — книги, газеты («Литературку»), толстые журналы. О себе не думала никогда — главным были семья, дети, дочь.

Мама рассказывала, что ухагеры у бабушки, конечно же, имелись. Она и после войны оставалась красавицей — зеленоглазая, с русой косой по пояс, пышногрудая. Но никогда не была замечена ни во флирте, ни в кокетстве — увы!

В двадцать восемь, в 38-м, перед ней навсегда закрылась дверь в счастье, в устройство женской судьбы. Или — сама виновата, характер? Нежелание размениваться? Устроить свою судьбу? Пусть без любви — но с мужчиной-то легче! Или ничего не осталось в выжженной душе? И не было места чувствам и эмоциям?

Она растила нас с сестрой, везла на себе весь дом, была прекрасной хозяйкой и абсолютно святым человеком — ничего плохого к ней не приставало. Сплетни она ненавидела, а щедрость ее была запредельной, такой же, как скромность.

Характер был у нее сложный, вспльчивый, неровный. Но ее искренность, чистота, почти святость, все искупали.

Вот задуматься — что хорошего она видела в своей жизни? Раннее бестолковое замужество? Второй брак, окончившийся страшной трагедией? Нищету? Вечную нужду? Женское одиночество? Она никогда не путешествовала, не носила красивой одежды, удобной обуви. Не имела отдельного жилья — так, чтобы уединиться и хоть немного отдохнуть от нас, шумных, непослушных, беспокойных. На море ездила с внуками и там не расслаблялась ни на минуту. Ни разу не была в санатории — чтобы подали, на-



крыли, убрали. Корячилась под лестницей на чужих дачах в душном угаре керогаза, стирала в тазу.

И переживала, переживала за всех нас, своих любимых и близких.

Она не видела ни Париж, ни даже Ялту, перед ней не открывал дверь услужливый и бородатый швейцар, ей не целовали руки, провожая недвусмысленным, задумчивым взглядом. Она не просыпалась на широкой постели с тонким бельем. Ей ни разу не сварили кофе – в том числе мы, паразиты, обожавшие ее!

Она просто была, и казалось, что так будет всегда! Всегда. Всегда она будет рядом, всегда покритикует нас своим прокуренным голосом, всегда пожалеет, даст умнейший совет. И снова – прикрикнет, снова раскритикует. Не обнимет, нет – никаких сю-сю, это не про нее.

Но мы всегда будем знать, что сердце ее полно любви к нам, жалости и сочувствия, почти слепого обожания и тотальной, неистребимой верности.

Ее нет уже очень давно – больше двадцати лет. Ее нет физически, но она есть – каждый день она с нами.

Приходя на кладбище, я говорю ей: «Привет! Ну как ты там, а? Наблюдаешь за нами? Ты мной довольна, ба? Не ожидала? Не ожидала, что из твоей легкомысленной внучки, любимейшей, избалованной именно тобой, что-то получится? То-то! Гордись!»

А дальше рассказываю ей, что у нас происходит. Хотя я уверена – она и так в курсе всего. Ну как же она может не быть в курсе? Она ведь всегда держала руку на пульсе. Она все про нас знает, все видит, и нам от этого легче. Она следит – пристально следит, заинтересованно, – все ли мы делаем так? Так, как нужно, как она нас учила? И мы чувствуем это.



Мы уже не плачем — давно отплакали. На ее могиле мы шутим и что-то вспоминаем — тоже что-то смешное, семейное.

Что она дала нам? Свое сердце, душу — да всё! Она научила нас быть людьми — а это самое-самое.

Мы, конечно, другие — у нас нет ее бескорыстия, достоящего до глупости, до идиотизма. Мы, наверное, подумаем, отдать ли последнее. Мы вообще сначала подумаем о себе, а уж потом о других. И все же мы не выросли подлецами, лгунами, бездельниками. В ведении дома мы почти приблизились к ее умению и таланту. Мы не рассматривали своих партнеров как средство улучшения качества жизни — может, и зря. Но этому бабушка нас не научила, потому что сама не имела представления об этом. Мы умеем трудиться. У нас есть друзья. И наша, уже не такая большая, семья всегда сплотится, если не дай бог...

Мой сын похож на бабушку внешне — прямой нос, зеленые глаза. И характер! В нем так много от нее, что иногда я просто теряюсь.

Никого не осталось в том городке, что под Минском. Никого и ничего, кроме старого пруда, затянутого ряской, желтых кувшинок, голубоватых стрекоз, кружащихся над мутной водой, старых и крепких дубов на пыльной и узкой центральной улице. И старого кладбища, густо заросшего осокой и бурьяном.

Несколько серых валунов с полустертыми надписями — ничего не поймешь, ничего...

И все же, глядя эти теплые, нагретые солнцем камни и разговаривая с ними, я верила, что меня слышат мои дальние предки.



И бабушке, думаю, это было приятно — при всем ее скепсисе, при отсутствии сентиментальности. Мне кажется — так.

Мы все — до сих пор — под огромным шатром ее безграничной любви и защиты.

И чувствуем это всегда.

Начало, пятидесятые

Моя двадцатидвухлетняя мама отстояла меня не без усилий и жестко — бабушка, потом, кстати, обожавшая меня без всякой меры, настаивала на аборте. Почему? Да все просто — видела зорким оком бесперспективность раннего и не совсем равного брака дочери. В чем, как всегда, оказалась права. Но мамино твердое «нет» решило мою судьбу.

В конце июля, числа, наверное, двадцать пятого, меня привезли в мою первую квартиру — огромную коммуналку на Петровских линиях.

Мало было счастливых, не наблюдавших деревянные кружки для унитаза, развешанные в рядок на гвоздях в общем туалете, не помнящих огромное, душное, во влажном пару, пространство коммунальной кухни, больше похожее на преисподнюю, где в ряд на кривоватом полу, выложенном коричневыми квадратиками метлахской плитки, стояли несколько газовых плит и маленькие, кривобокие столики — свой, личный, у каждой семьи. И множество звонков на деревянной панели у входной двери и надписи под ними: Гусевым — два звонка, Фельдманам — три, а Копопленко — уже все четыре.



Еще был общий звонок — так и писалось: «общий». Это для почтальона со срочной телеграммой, участкового врача, милиционера или старьевщика с заплечным мешком. Были в те времена еще и точильщики — мужички, как ни странно, довольно хилого вида, волочившие увесистый точильный станок. Их ждали и им радовались, ножи, ножницы, запчасти от мясорубок — все выносилось на лестничную площадку. Тут же выстраивалась очередь, терпеливая и умиротворенная. Хозяйки, оторвавшись от плит и тазов, с превеликим удовольствием давали себе передышку — шушукались и обменивались новостями — чаще всего, разумеется, квартирными сплетнями. С плохо скрываемой радостью, слегка по-садицки, поносили своих свекровей, мужей и детей.

Я прекрасно помню нашу первую квартиру — доходный дом напротив гостиницы «Будапешт» — второй этаж, окнами на Неглинку, на знаменитый юргенсоновский магазин «Ноты». Наискосок — Сандуновские бани. В квартире проживало тринадцать семей. У всех по комнате, а у счастливиц и по две. Моя бабушка как раз была среди счастливиц — путем сложных, многоходовых обменов у нас оказалось две комнаты. Правда, довольно скоро одну комнату бабушка отдала любимому брату, вернувшемуся из долгой командировки в Магадан. Московского жилья у него не было.

Отдала дальнюю комнату, запроходную, с выходом на черную лестницу — страшную, жутковатую, стильную, остро воняющую помойкой. На черной лестнице смело гулял ветер — наверное, из щелястых, никогда не конопаченных рам. Но имелось у комнаты неоспоримое достоинство — свой выход, отдельная дверь на эту самую «кухаркину» лестницу, именуемую в старые добрые времена



входом для прислуги. Помню дверь, обитую черным дерматином: пухлую, с серой, грубо и бесстыдно выпирающей ватой — дверь в «отдельную» дядюшкину квартиру.

И вот итог «передела собственности» — точнее, переделывания: бабушкин брат получил отдельную квартирку — свой вход, с личной дверью. В коридорчике, узком, пройти только боком, была установлена электрическая плитка, подвешен рукомойник с ведром и — на тебе! — кухня. Жена его там и готовила, «на проходе», лишая себя «удовольствия» толкаться на общей и коммунальной.

Черной лестницы я побаивалась: темно, холодно, отвратительный запах помоев и табака — это была еще и курилка. Но бегать к тетке любила — та часто пекла пирожки.

Итак — бабушка комнату отдала.

— Это мой брат! — твердо объявила она. — И у него нет жилья.

Вот так просто. И правда, куда уж доходчивее?

Бабуля моя пару раз в жизни имела возможность побыть крезом или султаном Брунея. Но эту плохо знакомую роль исполняла она с большим блеском — превращала в театральное действо.

Сейчас это кажется неправдоподобным — запросто отдать комнату в центре. Ну а тогда подобные подарки были нормой. Как не поделиться с родными? «Да и зачем нам две комнаты?» — искренне удивлялась бабуля. Нам — это ей самой и маме-студентке. Про то, что красавица и умница мама наверняка скоро выскочит замуж (в девках женщины нашей семьи не задерживались, все мы «ранние»), бабушка не задумывалась. Как вообще не думала о материальном — никогда.

Была в бабушкиной жизни еще одна невероятная история: она подарила наследственное кольцо из бриллиантов.



Причем сделала это ни минуты не раздумывая, раз — и готово! Тоже — брату. Этому странному и не вполне логичному поступку было простое и бесхитростное объяснение — Коленька высылает нашей мамочке десять рублей в месяц, а я не могу! Да и вообще — зачем мне бриллианты? Куда их носить?

Совестливая моя бабушка...

Бриллианты достались ее племянницам и золовке. Слава богу, все они были хорошими людьми. А для хорошего человека ведь ничего не жалко. Ну и третья попытка игры в богачку — пятьсот рублей, полученные в наследство от умершей подруги. Тогда еще вполне приличные деньги.

После выхода из сберкассy у бабули моментально изменилась походка и распрямилась спина, горделиво запрокинулась голова. Ну и взгляд стал соответствующим.

— Лови такси! — объявила бабушка, закуривая свою «беломорину». — Едем в Елисеевский!

Надо ли говорить, что у Елисеева мы скупили все, что было возможно? Помню икру по несусветной цене, сыр рокфор с зеленой плесенью, севрюгу и торт.

Гуляла моя бабушка. И откуда такие замашки? А остатки от наследства тут же, по приезде домой, отдала моей маме.

Думаю, если была бы возможность, бабуля моя сорила бы деньгами с удовольствием, не задумываясь. Но только возможностей не было.

Никогда не жалела денег на хороший кофе, шоколад или сыр. А на большее, кстати, все равно не хватало. Широта натуры ведь не всегда зависит от толщины кошелька. Далеко не всегда.

Или — нищим легче делиться? Может быть, так.



Квартира на Петровке была очень дружной, что тоже было не такой уж редкостью по тем временам. Мизантропы еще не расплодились в огромном количестве, все упрямо и с удовольствием верили в светлое будущее. Только пережили войну, помнили голод и холод и были счастливы оттого, что остались живы, вернулись из эвакуации, с фронта — да и просто от хорошего успели отвыкнуть. А до нового «хорошего» было ой как далеко! Кто-то и вовсе его не дождался.

Праздники — ноябрьские, майские, новогодние, дни рождения, свадьбы, поминки — отмечали вместе. Вместе радовались и горевали. Вместе смеялись и плакали. Вместе готовили, накрывали столы, собирали и дружно мыли посуду.

Но были, конечно же, на фоне жизнерадостного, оптимистичного, неизбалованного и очень терпеливого народа и изгои. В любое время процветают человеческие пороки.

Помню отлично семью — муж и жена. Он мужичок противный, склизковатый, похожий на усатую, разъевшуюся, жирную крысу. Но тихонький — скорее всего, просто трус: всегда помалкивал — и бочком, бочком к себе в комнатку. «Отрывалась» жена — Антонина, Тонька, как звали ее за глаза. Тонька была старше своего муженька лет на двенадцать. Нервничала, наверное, что уйдет ее крысеныш к бабенке посвежее, вот и пасла его, как козла, — на короткой веревке. Работала она учителем физкультуры. Говорили — стучала. Скандалы обожала — расцветала, как маков цвет, пылала лицом и сверкала глазами. Могла бы легко и просто задавить необъятным бюстом или задницей, а уж если рот откроет — беда, страшное дело. Сплетница, хамка, грязнуля и жадина. Их не любили и к столу не приглашали.



Была еще семья художника, милые люди, но муж — пьяница и бузотер. Скандалил исправно, по расписанию, часто и громко. Как и многие художники, «главарь» семьи ничего не зарабатывал — кормильцем была жена. Их и жалели, и поносили, и подносили — кто миску с супом, кто пару котлет, кто пирожки. Народ наш всегда жалел нищих и пьяниц.

Помню странную пару — Наталья и Клавдий. Наталья — женщина-гора: высоченная, очень полная, с густыми седыми волосами на подбородке, одышливая, больная, почти неходячая, добрая и плаксивая. И он — крошечного росточка, с малюсенькими ножками в детских ботиночках, со странным, смешным, помятым и улыбочивым личиком. Женским каким-то личиком, что ли?

Наталья из комнаты почти не выходила — в магазин бегал шустрый Клавдий, обед готовил он же, давая полезные советы опытным хозяйкам. Странно, но к его советам прислушивались.

Спустя много лет я узнала историю их семьи и любви — и она меня потрясла. Наталья и Клавдия были подругами. Работали на одном заводе. Клавдия (или Клавдий?) была к несчастью, гермафродитом. К сорока годам мужская часть его организма одержала победу над женской. И из Клавдии получился Клавдий. Он стал носить мужскую одежду, сделал мужскую стрижку — видимо, ощущал себя полноценным мужчиной. А их дружба с Натальей перешла в иное качество. Что уж там было на самом деле — уже никто не узнает. Может быть, дело в том, что выживать в паре всегда проще. Клавдий был очень заботливым мужем, внимательным, нежным, хорошо понимал нелегкую женскую долю. Наверное, женская генетическая память у него хорошо сохранилась. Жили они мирно и счастливо. Ну или просто мирно.



Помню дробный стук мальчиговых ботиночек на подбитых каблучках «для роста» — Клавдий, с вечной улыбкой на сморщенном старушечьем личике, спешит по коридору, неся любимой Наташеньке кастрюлечку с кашей.

Еще была одна прекрасная старушка — определенно из «бывших». Звали ее Вера Николаевна. Помню синие обои в ее комнате, кобальтовые чашки и разрозненные серебряные ложечки. К чаю подавались варенье в вазочке на тонкой крученой ножке и домашнее печенье с изюмом. На простой табуретке, прикрытой куском вытертого бархата, стоял старый патефон с пластинками — только классическая, оперная музыка. Слушала она ее часами. Слегка потрепанный, с костяными ребрами веер висел на стене — память о первом бале девицы Верочки Смоловой. Низкий абажур нависал над столом, покрытым гобеленовой скатертью с пушистыми кисточками на концах — кисточки эти я заплетала в косички, за что получала от бабушки нагоняй. На стене висела икона, под ней всегда горела лампадка. Напротив — фотографии статного красавца в военной форме. «Муж», — шепнула мне бабушка. Верочкин муж, белый офицер, погиб в Гражданскую. От голода умер новорожденный сын — сама Вера в то время погибала от сыпняка.

— Зачем я выжила? — до конца жизни удивлялась она. — Для чего? Для чего живу так долго? Чем прогневала Господа нашего?

Жила тихо и тихо умерла, не дождавшись расселения и отдельной квартиры. Помню сережки в ее аккуратных и красивых ушах — маленькие, бирюзовые, яркие, как и ее добрые, вечно слезящиеся глаза. Каждый день она выходила на променады — шляпка из потертого велюра, платочек на шее, перчатки, «помнящие многое», и крохотная кожаная сумочка на звонкой защелке, в которую



она стыдливо прятала пролетарскую авоську — а вдруг что-то удастся достать?

Московские старушки, «арбатские» — так почему-то их назвали.

Их больше нет... нет даже похожих.

Была и еще одна замечательная пара, семья, польские аристократы — Ольга Алексеевна и Алексей Фелицианович. Происхождение свое, конечно, скрывали — чем хвастаться-то? Воспитанием или образованием? Хорошими манерами — да о чем вы? Все это было уже не в чести. Алексею Фелициановичу удалось уберечься — анкеты были исправлены, и бывший военный инженер служил на заводе простым работягой. В начале 30-х забрали их единственного сына. Сидел он в Ухтпечлаге, потом, видимо, оказался в ссылке и дальше — пропал. Никаких вестей от него больше не было.

Ольга Алексеевна была истинной аристократкой духа — ее уважали, с ней считались. Была она и замечательной хозяйкой — бабушка моя многому у нее научилась. Считалась она негласной «хозяйкой» квартиры — ложилась позже всех, проверяя перед сном запоры на входной двери и газовые конфорки. Составляла список квартирных дежурств. Не выходила на кухню без прически, не подкрасив губы. Никогда не носила халаты. Революцию называла «разволюцией». Так и говорила: «Это было до разволюции».

На стене в ее комнате висели старые фотографии — Олечка в широкополых, полупрозрачных летних шляпах, Олечка в маленьких шляпках с вуалью, в бархатном рединготе, в кружевной тальме.

В середине 50-х раздался звонок в дверь. На пороге стояла немолодая женщина с очень усталым лицом и по-



тухшим взглядом. За руку она держала худенького бело-брысого мальчика.

Оказалось, что женщина эта в ссылке сошлась с их сыном, родила ребенка, назвали Валерой. Ее муж, сын стариков, умер, а она с сыном выжила и вернулась в Москву. Конечно же, Ольга и Алексей мальчика признали и приняли. Женщина эта отдала им сына, почему — я, конечно, не знаю. Валерик рос у деда с бабушкой, которые его обожали. Мать приходила его навещать.

Алексей Фелицианович умер, Валерик вырос, женился и забрал старенькую бабушку к себе.

Были еще циркачи — дрессировщики пуделей. Они разъезжали по гастролям, а приехав домой, начинали отчаянно спекулировать — из Ташкента везли дыни и груши, из Молдавии персики и виноград, с Украины посуду — кастрюли, утятницы, из Белоруссии шерстяные носки, варежки, свитера и сухие грибы. Из Норильска копченую рыбу.

Открывал торговлю муж дрессировщицы — крошечный, пузатый и лысый хитрован. Торговался нещадно и цены не сбрасывал — плакался, что не на что кормить подопечных — от государства собачки получали сущие копейки. Народу становилось стыдно, и все утихали. Иногда, правда, приторговывал и костлявым мясом — видимо, подопечные все же «делились».

Жена его носила странное имя Фиалка. Была она женщиной редкой, почти уникальной красоты и очень высокого роста (муж еле-еле доставал ей до плеча). На кухню Фиалка не выходила. Муженек варил ей кофе, покупал пирожные в Столешниках и относил все это на красивом старинном подносе в комнату. Обожал и прислужи-



вал, очень старался. Наверное, всю жизнь боялся, что Фиалка уйдет.

Помню ее мельком — прошла, обдав запахом духов и цветочного крема. Пролетела, прошелестела шелковым пеньюаром, процокала домашними туфельками на каблучках. Нездешняя фея, нездешняя красота. Не ко времени пришлось бедная женщина, жалко...

Их, конечно же, тоже не любили и осуждали. Но ненависти к ним не было — все видели, как тяжело они пахали: неотопливаемые провинциальные гостинички и клубы, поезда, автобусы, переезды, перелеты на кукурузниках, заштатные шапито.

Еще была несчастная и тихая женщина Рита, никогда не поднимающая печальных глаз. Воспитывала она недвижимого сына — наверное, это был тяжелый ДЦП. Муж ее после рождения больного ребенка тут же, конечно же, исчез. Мальчик не сидел, не говорил — только открывал рот, когда мать подносила ложку с супом или кашей. В интернат она его не отдавала — говорила: «Ни за что и никогда». Покормив и умыв сына, Рита тут же бежала на работу — куда-то совсем недалеко, по-моему в ЖЭК. Прибегала днем — снова покормить и переодеть. Родных у нее не было. Отдельную квартиру они получили одни из первых.

Еще в квартире жила маленькая старушка, одетая во все черное. Ходила она только в церковь на службы и в булочную. На кухне никогда не топталась, в разговоры ни с кем не вступала, что-то бормотала себе под нос и постоянно крестилась. Никто про нее ничего не знал. Поговаривали, что в прежней жизни она была матушкой, женой расстрелянного попа.



Врач Сусанна, абхазка, слыла мастерицей-кулинаркой. Когда она колдовала на кухне, все стекались на запахи — свежая зелень, грецкие орехи, фасоль. Так тогда в Москве не готовили. Из Сочи часто приезжала ее родня — для них она и старалась. Ну и, конечно, лечила соседей — в любое время дня и ночи никому не отказывала сделать уколы, примочки, померить давление.

Квартира часто ходила в Сандуны на «помыв» — всем составом. После бани на кухне накрывался стол.

В кинотеатр «Мир», что на Цветном, тоже ходили вместе. Мама рассказывала, как всем скопом пошли на «Ночи Кабирии». Сеанс был вечерний, поздний. Впереди — молодежь, сзади гуськом семенили старушки.

В детстве наша комната мне казалась огромной. Разумеется, такой она не была — объем и кубатура увеличивались визуально благодаря высоченным потолкам — метров пять или около того — и огромным окнам.

Высоченные окна бабушка мыла и проклинала архитектора. Чтобы открыть верхние створки, приходилось ставить большую стремянку. И еще был подоконник. Скорее всего, гранитный, возможно мраморный, шириной не меньше метра. На нем меня «выгуливали» под открытым окном месяцев, наверное, до пяти.

Когда подросла, со мной ходили гулять в тогда еще очень пышный и зеленый сквер у Большого театра. Помню, как мы, дети, собирали там райские яблочки — ярко-красные, с черными пушистыми «хвостиками» и золотистыми черенками. Хотелось их надкусить, но бабушка следила зорко. Но я все же ухитрилась однажды заныкать яблочко в карман и тайно, исподтишка надкусить. Разочарование оказалось огромным — пер-



вое несовпадение внешнего вида и внутреннего содержания. Впрочем, варенье из райских яблочек было отменным.

Гуляли со мной еще на Горького, у памятника Долгорукому. На площади было голубиное царство — огромное море курлыкающих и клехтущих голубей. Людей голуби не боялись и настойчиво кланчили хлеб.

Возле дома на Петровке была сказочная булочная — в ней продавались калачи, с которых осыпалась мучная пыль. Конечно же, ели и «ручку», за которую держали калач в царские времена. Отсюда и пошло «дойти до ручки», то есть до крайней степени бедности. А советский народ ел — неужто выбрасывать такую вкусотищу! В Филипповскую ходили за сайками, бубликами, рижским и заварным, пирожными и сдобными булочками. Московский хлеб был в то время прекрасен — впрочем, как и мороженое. Мы уже жили на Соколе, но все равно ездили в Филипповскую за любимыми калачами и бубликами.

Калачи, кстати, довольно скоро пропали. И кому они, интересно, мешали?

А бублики где?

Москвичи, конечно же, помнят прозрачные тележки с пломбиром в ГУМе, Пассаже и ЦУМе — тончайший вафельный стаканчик, а наверху шапочка шоколадного или ванильного мороженого с изюмом. Расхватывалось оно моментально — тележка пустела, и мороженщица резво ее увозила. Народ терпеливо ждал следующую. Работало это бесперебойно.

Мороженое московское тоже кануло в Лету. А про нынешний московский хлеб говорить просто больно.



За сыром и колбасой, конечно же, ходили к Елисееву или на Горького в «Диету». Что-то достать там можно было всегда, даже в самые скудные годы, естественно отстояв огромную очередь. Был еще магазин «Сыр» — там же, на Горького. Но очередь меня не пугала — я обожала сказочный, похожий на королевский дворец Елисеевский магазин. Бабушку не дергала — закинув голову, рассматривала разукрашенные потолки, бронзовые люстры, расписанные стены и портреты в золоченых рамах.

Помню еще крошечную пончиковую, смешной павильончик в Столешниках, напротив — почти напротив — храма Космы и Дамиана. Домик в два окошка, а в окне инсталляция — столик, два кресла и куклы, тряпичные бабы, вроде тех, что сажали на чайник. Куклы пили чай — настоящий самовар, настоящая посуда и пончики из папье-маше. Внутри само производство, фритюрница, лента, по которой медленно ползли уже готовые пончики, а пышная, совсем как в окошке, тетушка быстро и ловко нанизывала их на круглую деревянную палку, вроде той, которой помешивают в баке белье на плите. В титане какао, два столика на высокой ноге — их называли «стоячки». Можно было купить и навynos. Тетка ловко кидала пончики в бумажный пакет, щедро сыпала сахарную пудру и — пожалуйста, приятного аппетита! Дух от жареных пончиков витал над Столешниками.

Жить не в центре считалось... не очень приличным, что ли. Кто жил на окраинах? Те, кто имел частные дома — на Преображенке, в Сокольниках, Гольянове, — практически дачи. Ну и бараки — заводские, перенасыщенные народом — не всегда, кстати, трезвым



и мирным. В частных домах удобств не было, а бабушка всегда гордилась удобствами. И смех и грех. Ржавая ванна с несмываемыми подтеками и обвалившейся плиткой. Про туалет уже было сказано. Но «до ветру» не бегали, это да.

Муж мой, к слову, родился на Плющихе, в старом двухэтажном доме. Так вот, там ни воды, ни газа, ни туалета действительно не было. Воду свекор — здоровый и крепкий мужик, профессиональный пловец, прошедший войну, — носил из колонки. Готовили на примусе и керогазе, и туалет — деревянная будка — стоял во дворе. Конечно, народ ходил в бани.

Мама училась в Армянском переулке, в 644-й школе, тогда еще женской. На первом этаже их дома была кулинария. Дальше по улице — рыбный магазин, а на левой стороне — китайская пагода чайуправления, из которой разносился запах только что смолотых кофейных зерен. Правда, не во все времена. Заходить туда было чертовски интересно — там тоже все было как в сказке.

В детский сад я ходила на Кировскую. Главная мука тех лет — лифчик для чулок. Застегивать его никак не получалось — мучились и девочки, и мальчики. Bravo колготкам и тому, кто их изобрел.

Спустя целую кучу лет меня снова занесет на Кировскую — там, в доме Страхового общества «Россия», будет находиться скульптурная мастерская моего первого мужа. Мама в то время будет работать в ЦСУ, в статуправлении, в знаменитом доме гениального Ле Корбюзье — тоже на Кировской. По Кировской, на Чистых прудах, я буду «выгуливать» свою непростую беременность.



Маму я часто встречала после работы — пошли пошатаемся? Ну и шли гулять — от мрачноватого коричневого здания ЦСУ в чайуправление, кулинарию, магазин «Свет», рыбный — что на углу. Магазин «Пуговицы», угловой гастроном и так до Дома фарфора. В нем всегда были огромные очереди. Помню, «напали» на кофейные чашки из костяного фарфора. Сейчас уже ни одной не осталось. Впрочем, что чашки...

А сейчас там пустота, ни одного человека, хотя товар восхитительный! Но в зале одни продавцы.

Вернемся в коммуналку на Петровке. Летом меня отправляли в выездной детский сад — тоже от ЦСУ, маминой службы, — в Пестово, Рузу. Хорошо помню деревянные бараки, раскладушки, эмалированные зеленые ночные горшки, остывшую манную кашу, ненавистный компот, в котором барахтались противные осы. Мы вылавливали их столовыми, жирными от супа ложками и пили, потому что нас заставляли.

От бесконечных дождей было холодно и сыро. Тоска. Помню как сейчас: я стою у окна и жду маму. Воспитатели гонят меня, но я упрямо стою. Смотрю на раскисшую от непогоды дорогу. Реву. Мама приезжала каждые выходные — на попутных грузовиках. Привозила сладости, фрукты. Ночевала в каморке у дворника. Мы шли с ней в лес, и она меня кормила. Ревели при этом обе. И снова запах хлорки, сырое белье, ледяная вода в рукомойнике, ночные горшки, на которые нас высаживали в ряд: хочешь не хочешь, а сиди, так положено.

Летнюю садовскую дачу я, ребенок вполне общественный, ненавидела люто. По счастью, скоро родилась сестра, и мы начали ездить на съемные дачи.



Шестидесятые, Сокол

В шестьдесят пятом наша жизнь круто изменилась. Родители нашли удачный обмен. «С Петровки на Сокол, в квартире всего одни соседи, разве не рай?» — приводила разумные доводы мама. А бабушка отчаянно протестовала: «Ехать в такую даль? С самих Петровских линий? Пять минут от Большого театра и десять от Красной площади?» Но — уехали. Казалось, что преимущества неоспоримы. Рядом — Поселок художников, тихий и зеленый рай в огромном городе. Да и две комнаты — родителям и нам с бабушкой. И всего одна семья за стеной. Здорово, да? Оказалось — не очень. Соседи попались злобные и нечистые на руку — однажды я видела, как бабка Прасковья лезет руками в нашу кастрюлю с борщом — тянет оттуда кусок говядины. С тех пор без надзора на плите ничего не оставалось. С бабкой Прасковьей жила дочь Лизавета, старая дева, с лицом желчным, темно-желтым. От злости? Или болела? Всех эта Лизавета ненавидела, а меня, маленькую девочку, почему-то больше всех. Никогда не здоровалась — только цыкала вслед. Тихим и добродушным был только дед, муж бабки Прасковьи, но он рано погиб — выпил лишку, попал под электричку. Помню, как в коридоре стояла крышка гроба, обитая красным и черным сатином. Испугалась тогда я здорово — из комнаты долго не выходила.

Кухня была крошечной — метра четыре. Два стола, плита и раковина. Ели мы в комнате, за большим круглым столом. Большая комната была замечательной — светлой, квадратной, метров восемнадцать, с окном-форелем во всю стену.



Бабушка долго не могла привыкнуть к новому месту. Ей казалось, что это почти деревня, загород, выселки — так далеко. А до центра, между прочим, было всего двадцать минут на метро. За продуктами она по привычке ездила «в город». Городом она называла, естественно, улицу Горького. Отстояв полдня в очередях, усталая, но довольная, разбирала свои авоськи — докторская колбаса, пошехонский сыр, вологодское сливочное масло и шоколадные конфеты — конечно же, от «Красного Октября».

Коммунальный быт был ужасен — кто спорит: общая кухня, ванная, туалет. Жизнь на виду — вот что самое страшное. Никаких тайн от соседей, ни грамма приватности. Сейчас и представить себе невозможно, как это так — очередь в туалет? Или — в ванную?

Конечно же, все мечтали об отдельной квартире. Но... Жили же как-то... Может быть, от кошмаров коммунального быта спасали светлые мечты — что когда-нибудь будет отдельная?

Счастливая мама тут же купила мебель — темно-красного, почти гранатового цвета, изящную и необычную — горка для посуды, длинный комод, стол и стулья. В эпоху «стенок» эта чудесная мебель была продана за копейки, о чем еще много раз пришлось пожалеть — сносу ей не было, настоящее дерево, а вид и по сей день был бы прекрасен и благороден. При этом по ходу пьесы она оттащила на помойку старинную бронзовую люстру, заменив ее польской с пластмассовыми разноцветными колпачками. Много лет спустя призналась, что вместе с люстрой на помойку было снесено ну очень старое зеркало в той же бронзе, поломанные настенные часы в футляре из сандалового дерева и ветхий (по словам мамы) ковер. Подозреваю, персидский или турецкий «пензионер» с немаленьким стажем и богатой родословной.



Наша с бабушкой комната была совсем крохотной, семиметровой, но с балконом и кладовой. Кладовка стала моей личной территорией, там лежали игрушки, стоял кукольный домик.

На балконе бабушка выращивала цветы — желтые, красные и оранжевые настурции. Осенью собирала в баночку зеленые, очень пахучие шарики — семена — для последующей высадки.

В теплое время я обожала торчать на балконе — переговариваться с еще гуляющими подружками. Весь двор был как на ладони.

Да, это был настоящий московский двор — уютный, зеленый, закрытый, с палисадником, лавочками, качелями, крытыми верандами — на случай дождя. И с катком, который обязательно заливал при первом морозе вечно пьяненький и добрый дворник дядя Ваня. Зимними вечерами, еле дождавшись маму с работы, я брала коньки, и мы шли на каток.

Летом на лавочках сидели старушки, по двору прогуливались молодые мамочки с колясками. В палисаднике росли розовые и белые флоксы, и никто и не думал их обрывать.

Во дворе мы устраивали тайники и делали «секретники» — неглубоко, в маленькой ямке, укладывался фантик от конфеты, кусочек фольги, лучше цветной, листик или цветок, и все это «сказочное богатство» придавливалось цветным же стеклом. Красота была неописуемая. Трупки погибших птиц собирали на заднем дворе и устраивали пышные похороны. Укладывали их в коробки, сооружали могилы, украшали их цветами и ветками. Это увлечение, к счастью, скоро прошло.

Играли в классики, в штандер, в города, в прятки и в казаки-разбойники. Во дворе мы болтались целыми



днями — это была особая жизнь, сейчас такой нет. Именно во дворах мы проходили боевое крещение — на верность, на честность, на дружбу. Там, во дворах, очень скоро всем становилось понятно и ясно: этот — трус, та — врушка, а тот — предатель! Ну а это — друзья. Дворовой кодекс чести был очень в чести — простите за каламбур. Двор был маленькой, крошечной моделью общества, мира, если хотите. Там и закладывались, закалялись характеры. Формировались личности.

В Поселке художников, на задворках, работала зеркальная фабрика. Возле нее ежедневно вырастала помойка с отходами — осколками зеркал и длинными дырчатыми лентами разноцветной фольги — малиновой, синей, зеленой. Из нее делали то, что сейчас называют пайетками. А раньше это называлось просто — «блестки». Это было большое богатство — длинные перфорированные ленты фольги и осколки зеркал. Что мы делали со всем этим добром — убейте, не помню! Осталось только в памяти, как, найдя, мы были счастливы безмерно.

Часто бегали к метро «Сокол» — за мороженым. Очень ценилось цитрусовое, желтенькое, по девять копеек — кисло и вкусно, а главное — дешево. Могло хватить денег и на два. У метро толстая тетка, замотанная зимой в кучу платков, притоптывая огромными валенками, орала на всю улицу: «Пирожки га-аа-рячие! С мясом, повидлом и рисом!» С мясом стоили десять копеек, с повидлом и рисом — по пять. Чаще всего хватало на рис и повидло. С мясом есть боялись — бабушка говорила, что мясо там «от не пойми кого» — может, кошачье, а может — собачье.

Шумные пестрые цыганки там же, у метро, торговали леденцовыми петушками на палочке — прозрачными, ярко-красными, очень соблазнительными. На петушки



тоже было наложено вето — никогда и ни при каких условиях! Попробовать хотелось, но остерегались. В том числе и шумливых цыган. Утащат — и никто не найдет! Заберут «на мыло» — так нас пугали.

В нашем доме была прекрасно развита инфраструктура — на первом этаже располагались сберкасса, парикмахерская, ЖЭК, ремонт обуви и булочная. Туда мы бежали за «калорийками» по десять копеек — «загорелыми» плюшками, утыканными орешками, с изюмом внутри. За домом стояли автоматы красного цвета с газировкой. С сиропом — три копейки, без — одна. К автомату полагались граненые стаканы. Но частенько их не было — говорили, что воруют их алкаши. Потом мы сообразили бегать туда со своими кружками — брали одну на всех и не мучились.

Любимое развлечение — толкаться в огромном детском магазине «Смена». Пропадали в отделе игрушек, одежды и обуви. Помню, завезли туда роскошные кофты — желтые, розовые, голубые, производства Японии — такое вот чудо. Кофты были украшены вывязанными цветами. Не кофта — мечта! Канючила долго. Наконец мама, вздохнув, согласилась. Стоила эта красота безумно дорого — двадцать рублей, четверть зарплаты. И вот день счастья — встречаю маму после работы, под самое закрытие магазина. В магазине почти пусто — время к девяти, все уже дома. Замерла у прилавка — какого цвета выбрать? Мучилась страшно. Победил, конечно, салатový. До сих пор, наряду с зеленым, мой любимый цвет.

Мама уже пошла к кассе, и вдруг — дикий крик! Деньги украли! Когда? Как? В почти пустом магазине! Плакала мама, рыдала я. Мы ушли домой, и всю ночь я не спала — страдала. Очень страдала — пропала мечта.



На следующий день после работы мама принесла салатовую мечту — деньги взяла в кассе взаимопомощи, в долг. Вот и было мне счастье!

Помню и первое сентября. В первый класс я пошла там же, на Соколе. Старая школа красного кирпича, за школой — густой яблоневый сад. (Сейчас в моей любимой 149-й расположился журнал «Коммерсант».)

В мой первый школьный день моросил мелкий дождик, было довольно прохладно. Но явственно помню праздник! Точнее — его ощущение: острое, незабываемое. В руках фиолетовые астры, чувствую запах горчички. Белый фартук, новые туфельки, белые гольфы с помпончиками. Тревожно от неизвестности, страшно-вато, но — интересно. Все-таки новая жизнь! Спину оттягивал малиновый ранец с тетрадками, деревянным пеналом с ручкой и карандашами. У двери я оглянулась на маму — мама плакала и махала рукой — в добрый путь! Я очень боялась разреветься — уже скучала по маме и бабушке. Но через минут десять о них забыла — в классе было оживленно и весело, мы знакомились друг с другом, ерзали на деревянных прохладных скамейках, хлопали тяжелыми зелеными крышками парт. Осваивались.

Мне повезло с первой учительницей — она была именно такой, о которой можно только мечтать. Немолодая и синеглазая Ида Давыдовна учила нас не только правописанию и арифметике — она учила нас доброте и милосердию. Да и все учителя — ну, или почти все — в нашей школе были прекрасными. Например, литературу и русский нам преподавала Раиса Матвеевна Уткина, очень полная, рыжеволосая, густо конопатая. Говорили, что